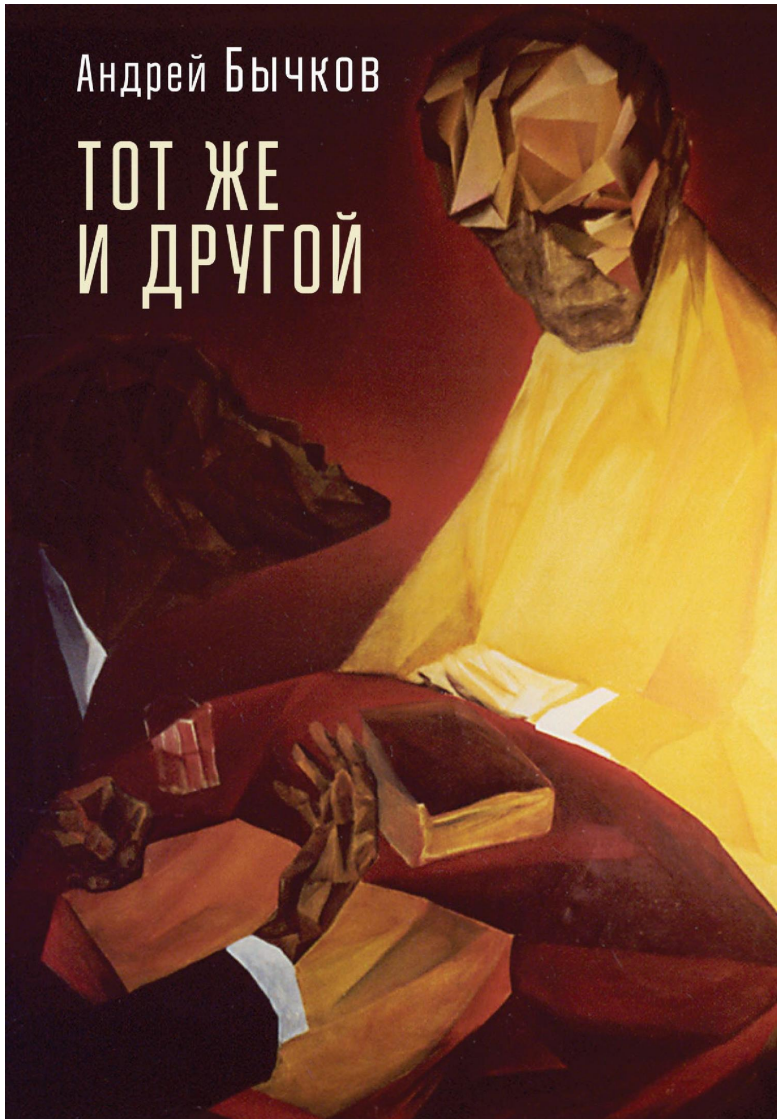


Андрей Бычков

ТОТ ЖЕ
И ДРУГОЙ



Андрей Станиславович Бычков

Тот же и другой

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62745786

Тот же и другой:

ISBN 978-5-00165-152-9

Аннотация

Андрей Бычков – автор яркий и необычный. Гештальт-терапевт, эссеист, прозаик, преподаватель курса «Антропологическое письмо», сценарист культового фильма Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж», в прошлом физик-теоретик. Лауреат премий «Silver Bullet» (USA), «Тенета», «Нонконформизм», финалист премии Андрея Белого.

«Тот же и другой» – роман о безумии и смерти. Это одна из тех опасных книг, которые возвращают читателя к проклятым и невозможным вопросам – зачем, почему? Нет ответа. «Пиши кровью, – говорит Ницше, – и ты узнаешь, что кровь есть дух».

В оформлении обложки использована картина художника Станислава Бычкова, отца автора книги.

Содержание

Часть 1	5
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17
6	20
7	24
8	27
9	29
10	31
11	34
12	37
13	38
Часть 2	40
1	40
2	46
3	51
4	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Андрей Бычков

Тот же и другой

«Среди золотистых развалин газового завода ты найдешь шоколадку и она от тебя даст деру но если побежать так же быстро как баночка с аспирином шоколадка заведет тебя далеко...»

Бенжамен Пере

Часть 1

1

Он лежал в комнате, лицом к стене, к синим недавно поклеенным обоям, которые мать и отец поклеили, пока он был в больнице. Он почти никуда не выходил (только за молоком) все эти несколько недель, слушал музыку, играл в компьютерные игры, и по ночам тихо, почти беззвучно пел, как будто было хорошо или становилось лучше, как будто было уже не так плохо, как раньше, не так нестерпимо плохо. Отец вызвал «скорую» в сентябре, когда нашел в его комнате баллон для розжига. Санитары приехали быстро. Маленький сразу проскочил к окну, а большой сел рядом на постель. «Надо поговорить», – сказал большой. «Бить будете?» – усмехнулся Фил. «Нет, зачем же. Просто поговорить».

Он по-прежнему лежал лицом к стене, хотя и не спал. Мать открыла дверь. Что-то, что было за ней, кто или что было за ней, из-за чего он остался, несмотря на всю бессмысленность – она открыла дверь, это было похоже на свет, как будто осветило вещи, порядок вещей, среди которых он оказался, хотя бы и исправить ничего невозможно.

Призрачное пространство из коридора – она возникла, несуразная. Он часто стеснялся ее, что она такая маленькая,

с косичками. Как девочка.

– Ты поедешь?

Все эти несколько недель, и раньше, несколько месяцев, он на все отвечал ей «нет», хотя в больнице было по-другому – ионы калия, бензофосфатные соединения, перевозбужденные мембраны нейронов и прочая абракадабра, из которой он состоял для врачей.

– Ты поедешь? – повторила она.

Белое «нет» распускалось – невидимое в полумраке комнаты, – оставляя утро за шторами. «Нет» как предмет, слово-вещь, письменный стол, бледный, как отец, только по диагонали, поперек горла.

– Ты поедешь? – повторила она в третий раз, как будто настойчивость что-то решает, а не наоборот, это для других слепая причина ищет следствие, но не для него.

Два раза мать и отец уже оставляли Филиппа одного, когда уезжали в деревню. Врач сказала, что никакого риска теперь нет, что риск остался позади и состояние более-менее стабильное, хотя, конечно, лучше бы брат Филиппа с собой, даже если он говорит, будто его тошнит в машине, дело же не в лекарствах, а в том, что он ничего не хочет.

– Нет, – сказал он.

– Все нормально?

Филипп молчал.

– Я разложила лекарства. Утро, день, вечер – на отдельных блюдецках. Там новая капсула – флюанксол.

Он знал, о чем она подумала и о чем не хотела бы подумать, гнала прочь. Он блаженно улыбался – *может, и нет, разве что от невозможности... но становится взрослым, прочным, как предмет, пригодным, как и все пригодное, преодолевать препятствия согласно обстоятельствам, зачем это?*

– Корми Чугнупрэ, – сказала она.

Черное, белое, мягкое и пушистое уже входило в комнату, мягко шло, прыгало на диван, зеленые глаза, не обращало на Фила внимания, облизывало лапу со спрятанными когтями, черное, белое, с тонкими усами, гладило себя по шерстяной голове и снова слизывало с лапы.

Филипп бросил руку из-под одеяла, чтобы поймать, но черное и белое уже отскочило легко и взглянуло на Филиппа с недоумением, внимательный взгляд, уселось на край дивана и продолжало мягко слизывать маленьким язычком. Филипп замороженно смотрел.

2

Это был гвоздь. И гвоздь звенел все тоньше, он пел, пока не зашел, наконец, в древесину. Отец ударил еще – для глубины. Стропило высылось. На синем. Белела доска, свежая, ровная, сходилась с другой крест-накрест. И рядом другие, в ряд. Размеченное, взятое от бесконечности, взятое от лесов, полей, от бездонной сини – пространство. Валентин поднял пилу, дернул стартер. Срезать ненужное, вонзаясь цепью в бело-желтую древесную плоть. Обрезок отскочил, и теперь на синем вычертилось еще более ровное, совершенное. Это было белое, желтое, аккуратно сложенное, с прямыми высокими ребрами. Как призма. Скоро крыша будет защита железом, и тогда пусть барабанит дождь, наваливается, пусть бьет ветер, крыша должна выдержать. Дом должен хранить, охранять. Разве что когда гром даст раскатом по всей деревне, заставит Валентина усмехнуться и взглянуть в окно на разбушевавшуюся по ту сторону стихию.

Он не был строителем, он работал, чтобы забыться. Валентин забывался, когда работал, ворочал брус, пилил, поднимал, прибывал. В передышку он смотрел вместе с рабочими сверху на лес, на деревню и снова брался за дело. Он не хотел думать. Не хотел знать. Он старался держаться от этого страшного знания в стороне. Работа держала. Но смертельное знание жило само по себе и жалило, когда хотело.

Нет, он этого не сделает.

Отец прерывал работу, брал с холодной водой графин, опрокидывал вместе с солнцем. И, расчлененное на желто-синие ромбы, графинное солнце стекало насквозь. Валентин зажмурился, вбирал холодными глубокими глотками. Горло проталкивало. «Надо бы попросить татар выкопать колодец». Он вспомнил, как татары копали у соседа, как смешно бегали с тачкой, вываливали глину, а потом падали, как мертвые, и отдыхали. Своя вода, она будет литься на землю, сколько захочешь. И тогда пей, обливайся, поливай. Купить только хороший насос... жаль, что... эх... Филипп... да, что Филипп... Валентин осторожно отставил графин. Знание жалило. Он взглянул на солнце. Ослепнуть, лишь бы не вспоминать... Темнота рассеялась на фиолетовые круги. И как с переводной картинки, как в детстве, он увидел с высоты жизнь деревни – красные и зеленые домики, кто как себе настроил. Во дворе напротив Иван пилил дерево, словно кочегар. У пруда, шел с бензокосилкой Сергей, срезая траву, как будто сеял. Между широко расставленных друг от друга домиков спускалась с пригорка желтая дорога. «Посадить бы елочек», – подумал Валентин.

Ветер налетел, всполошил, потрепал волосы, охладил вспотевшую спину, побежал дальше, взбивая на дороге пыль. От автобусной остановки спускалась маленькая фигурка, в которой Валентин сразу узнал жену.

– Как там Филипп? – сказал он сверху, когда она уже от-

крывала калитку.

3

В темноте стало хорошо и немного грустно. Валентин лежал на спине. Вера уже спала. За день они наговорились об их беде. Они изнуряли себя своей бедой за обедом и за ужином. Валентин не мог бороться со словами жены. Ее слова снова возникали сами. И он не мог им запретить. Они появлялись, возникали из ничего, настигали и как будто мстили.

За что мне такое наказание?

Он выздоровеет.

Он не выздоровеет, – она начинала плакать. – Он идиот, шиз. Ты, что, не понимаешь?

Он не идиот.

Посмотри на него, как он блаженно улыбается. А потом расцарапывает живот, лицо.

Кризис позади.

Никто не знает. Все может случиться.

Мы перевезем его в деревню.

Ты, что, не понимаешь, он не поедет!

Все будет хорошо.

Это ты во всем виноват!

Бессловесная ночь забывала день, все прошлое и все будущее, бессловесная ночь хотела одного – слепых тел, они должны были вжаться друг в друга, вжаться глубже и забыть, вжаться еще и еще, распалиться, идти к короткой и длинной

пустоте. Он прижался к жене. Сквозь сон она догадалась о его желании...

Он снова откинулся на спину, и теперь над ним были звезды. Ковш Большой Медведицы словно пытался зачерпнуть сквозь незащитные стропила. Звездный поток сверкал.

— обо всех забытых лицах, о белых ночных льдах, о матери и об отце, что он не может ничего рассказать своему сыну, что у него не получается ничего рассказать Филиппу, и что так было и с его отцом, который, наверное, тоже хотел что-то рассказать ему, Валентину, что-то близкое и простое, о чем никогда не рассказывают другим, да может быть, и не нужно, каждый из мужчин должен оставаться один... Но когда ехали в больницу, когда мы ехали с твоим дедом в больницу, когда я узнал, когда он сказал мне в машине, и я не мог, ничего не мог ему ответить, и лишь стремительная жалость, что сжала мое сердце, что как будто не было встречи, а вот и прощание уже, понимаешь, что сейчас, когда он уже готов был уйти и спокойно говорил мне об этом, о деньгах, о завещании, чтобы я построил дом на краю света, и жил с тобой — ты, мама и я — и был счастлив; и я ничего не мог ему сказать, потому что мое сердце разрывалось от жалости.

Это были те же звезды, как на обратной стороне Земли или где-то еще, те же самые, хоть и другие. Словно бы теперь они повернулись. И он снова сидел с Верой и пил красное вино в пустой гостинице, где они остались вдвоем, где

во всех четырех гостиницах в Нагаркоте, казалось, не было ни души. В это холодное время в отеле дежурил только сонный повар и Вера боялась, как бы их не зарезали шерпы, а Валентин смеялся. Они сидели на открытой веранде так высоко, что льды были с ними наравне. Красное вино в бокалах отражало белые пики – Манаслу, Ганеш Химал, Лангтанг, и они говорили о маленьком мальчике, который должен будет скоро родиться, который уже сонно грезил в океане грез, покоился в животе своей матери и ждал своего рождения, и уже пребывал с ними и здесь, плыл, покоился среди льдов и вершин. Звезды Нагоркорта были крупные и яркие, и они висели совсем рядом, над головой, или так казалось от выпитого вина. Висели как новогодняя соль, такая крупная странная и любопытная. И было что-то еще, чего Валентин как-то смутно боялся. Но блестели от счастья глаза жены, и он говорил *все будет хорошо*.

Я родился на развалинах газового завода, а омлет, как панама на моей голове. Если выйти с омлетом, то лекарства рассмеются от солнца. И будет надсаживаться, держась за подколенники, трилептал. Все слова, как и вещи, ни к чему, чтобы только играть. Элементы химии блестят, как шары на спинке кровати. Беспорядок нуждается в моей голове. Прилетит Луна и навеет сон, как орбита вокруг Земли. Катастрофа неизбежна, но Земля никогда не падает на Юпитер. А если порезать на себе кожу, то наружу выступит кровь. И она – *моя кровь* – будет красива. Но номота моя хромает от отчаяния, когда ты не выходишь в сеть. Меня бередит разум, что я ничего не могу с этим поделаться, и тогда я просто ложусь и лежу. Разум не придает сил пойти даже на кухню, а не то, что – в школу. А отец кричал, что у меня нет разума. А я плакал, когда шел. И мне жали ботинки. Трудный мир жал. Беспольный, дурацкий. Без конца задеваешь за углы. За твердые острые углы мира. Когда ты выйдешь в сеть? Ты должна была уже выучить химию. Я убью себя сегодня, я не могу больше терпеть...

Чугнупрэ спала, сжавшись клубком. Он погладил животное против шерсти. Чугнупрэ приоткрыла глаз. Филипп открыл дверь.

Не за молоком.

Был еще вечер, троллейбусы стояли один за другим.

Наверное, в проводах не было тока и они стояли в ожидании, а потом, когда ток дадут, они двинутся один за одним, но уже пустые, без пассажиров. Пустые, освещенные изнутри в своей пустоте троллейбусы.

Филипп дошел до метро. Спустился. Он стоял в ожидании поезда.

– Предатель, – сказала Чугнунрэ.

– В бензофосфатных путях совершаются пассажиры, – сказал трилептал.

– А я? – сказала маленькая девочка-мать. – А обо мне ты подумал?

– Мембрана непроницаема, – сказал мендилекс.

– Не забудьте сжечь в крематории, не гнить же ему в земле, – сказал флуанксол.

И знакомый до боли голос добавил:

– Не более, чем элементы химии.

Два подростка толкались у колонны – хачики. Невидимое, нарастающее подало знак. Подростки засмеялись. Из туннеля понесло ветром. Филипп знал – перед поездом ветер всегда. Крикнуло сиреной. Надо только глубоко вздохнуть, а глаза можно и не закрывать. Один из подростков захохотал и схватил другого за пояс. Хачики присели в приеме самбо. Хачики потащили друг друга к краю платформы. Плеснуло сиреной. Совсем близко. Невидимое, тяжелое, с жадно вра-

щающимися, уже слепо налетало. Машинисту будет на все наплевать, он даже ни в чем не будет виноват. Его даже не накажут. Скорее всего, машинисту будет интересно. Филипп представил, как *его красная кровь* брызнет под дно вагона, под буфера, оси, брызнет *красиво* в какие-нибудь винты... Машинист запомнит это навсегда.

Один из хачиков отпустил прием, и оба, рассаживаясь, рассмеялись. Взглянули зло на Филиппа. Второй, низкий и плотный, вызывающе подошел к самому краю платформы. Уже вырывалось из туннеля, сверкали окна, уже летело вверх тормашками, как карусель. Поезд тяжело вырывался в узкое пространство с рельсами, положенное ему для движения. Хачик стоял, как памятник, на самом краю платформы, в нескольких сантиметрах от налетающих вагонов. Безумные сверкающие блики озаряли его каменное лицо. Лицо его друга было исполнено восторга.

Говорили, что вся деревня стоит на подземной воде, и потому колодец можно копать везде. Просто вода – где перетекает, а где застаивается. И это покажет рамка. А рыли и у Ивана, и у Сергея, у всех здесь рыли. Линза же – одна. Вся деревня стоит на воде, говорили татары. Нет, вода в колодце никогда не кончится. Вода больше деревни. Вся земля здесь стоит на пльвуне. Пльвун-линза – она, где выше, а где ниже. На конце деревни рыли на двенадцать колец, а у Елены Ивановны, на пригорке, думали, что выйдет все двадцать два, и никто не знал, что вырвется на семнадцати. Там рыл Рустам, говорил старый татарин, и с пятнадцати его подняли и стал рыть Рахман. А там ведь как, если слой, особенно артезианский, близко, то, как вскроешь – и сразу фонтан, надо сразу выбираться, вода же быстрая, набирается сразу, бьет холодная, не успел оглянуться, а уже по колено, по пояс, до груди, надо скорее, иначе захлебнешься, долго в ледяной не выстоишь, и Рахману говорили, а он не знал, никто не знал, что он, что его, хоть мы и наклонялись, светили ему, и веревка была, болталась, готова была, потому что никто не ожидал, что там пойдет. И когда Рахман ударил лопатой, то там и открылось, стремительное, блеснуло что-то, как чешуя какая, зашуршало на скорости, пльвун прорвало, гул и течение пошло страшное, откуда такое, никто не знал. Рахмана мы

видели в фонарях наших, как его прям потащило с бетонным кольцом. Тонна кольца бетонного, а сдвинуло, как пушинку. И пошло черным блестящим, как с чешуей, куда-то, что он только крикнул, Рахман, а уже закрывало, сносило. И кольцо, и Рахмана.

– И вы тоже тогда рыли? – спросил Валентин.

– Я и рыл, – ответил старый татарин. – А как же. Я здесь двадцать лет рою... Вот Рахмана и унесло.

– В ад, – тихо сказал Валентин.

– В рай, – вздохнул старый татарин. – Мы всегда в рай. Мы же людям воду несем.

Он помолчал.

– Мы бы вытащили, мы все наготове были.

– Надо за пояс было привязать, – мрачно сказал молодой татарин.

– Тебя и привяжем, – сказал старый.

– Я когда глубоко, не буду.

– Второй раз не солят.

Они заспорили по-татарски.

– Значит, завтра, – перебил их Валентин.

Старый обнажил в усмешке свой черный рот, глядя на молодого. Тот, весь с малиновым лицом, с белками, яростно вылезшими из орбит, с пульсирующей на лбу вздутой жилой, дул в ноздри, просмаркиваясь. Валентин знал, что у молодого татарина гайморит, и боялся, что он откажется. А старый не будет один рыть.

– Пять восемьсот за кольцо, – сказал старый.

– Я же с вами на пять договаривался? – сказал Валентин.

– Рамки медлили, видел?

– Но только у яблони же.

– Неизвестно.

– Значит глубоко?

– Не знаю, – сказал старый. – У Елены Ивановны так же было.

– Это вывоз земли, – сказал молодой. – Кубометр за восемьсот.

– Это очень дорого получается, – сказал Валентин.

– Как хотите, – сказал старый татарин. – Мы тоже просто так жизнью не рискуем.

Второй издал глокающий носовой звук.

– Хорошо, завтра, – сказал Валентин. – А землю я сам потом вывезу.

– Как хотите, – сказал старый.

Татары рыли быстро и жадно, маленькими лопатками. Старый рыл, хоть и задыхался, наравне, как молодой. Когда его вытаскивали на кованом ведре, он был весь бледный, с белым лицом, и валился не в тень, а на солнце. Лежал навзничь, как будто сразу засыпал. А в глубине уже рыл второй. Проходили слой глины, скоро должен был пойти песок, а значит и близко вода. Старый поднимал глину на вороте, в том же кованом ведре. Потом оба быстро-быстро бегали с тяжелыми тачками, вывозили далеко за ворота (договорились за пятьсот), а потом оба опять падали – и старый, и молодой – и лежали в отдыхе неподвижно на солнце, как будто спали.

Валентин смотрел в окно, иногда выходил к яме и нетерпеливо заглядывал в глубокий узкий туннель между вырубленных корней старой яблони. Прошли уже слой камней, вынули валуны, они лежали под деревом. Становилось все глубже и глубже. Уже подвезли бетонные кольца. Одно за другим, смешно, как гуси, кольца выстроились по всему участку.

– Что ты смотришь так часто? Там пока ничего нет, – сказал старый.

– Я просто смотрю, – сказал Валентин.

– Ты все время подходишь и смотришь. Когда пойдет вода, мы тебя позовем.

Валентин ничего не отвечал им и улыбался. Он ждал *своей* воды. Дом был почти достроен. Малиновое железо на крыше блестело. Крышу зашивали другие рабочие. Гремели листьями против готовящегося грома. Из-за леса уже надвигалась гроза.

– Накройте баннерами! – крикнул Валентин рабочим. – Все равно не успеете до дождя.

– Какие?

– Вон те, от «mitsubiши».

Черное поднималось из-за леса, разворачивая беззвучные зловещие крылья. Черное грозило на флангах, как будто хотело наказать. Как будто виной было нетерпеливое желание Валентина. Вода уже неслась за лесом, вместе с тяжелым ветром. Темнота набухала, кренилась, заворачивалась, тяжело цепляла гнущиеся верхушки деревьев.

– Скорее! – закричал Валентин. – Сейчас польет!

Татары бросили тачки и побежали вместе с ним к широким сложенным полотнищам. Рабочие сползали по ребрам стропил до карниза, чтобы принять. Уже успели развернуть и уже натягивали, тянули шестиметровый баннер ближе к коньку, поднимаясь вверх по стропилам, чтобы закрепить. Но что-то уже стремительно налетало, сбивало, сминало. Широкий удар налетевшего ливня уже вырывал огромное полотнище баннера из рук строителей, и, изгибаясь и извиваясь, как знамя, огромное белое оно уносилось в небо.

– Вера, назад! – крикнул Валентин.

Непонимающая, испуганная, сонная, она стояла на крыльце.

– Скорее в светелку! Сейчас дом зальет!

Рабочие соскальзывали по стропилам, прыгали с лестницы, падали в грязь, смеялись, бежали к сараю. Татары уже сидели на корточках под навесом, прижавшись, как куры.

Гром ударил, раскатился почти над головой. Завизжала сигнализация автомобиля, на котором приехали рабочие.

Вера стояла, покачиваясь на крыльце, над которым еще не было навеса.

«Надо было спрятать коньяк», – подумал Валентин.

Ливень уже обрушивался всей стеной. Дождь облепил, облепил платице вокруг ее маленькой тонкой фигурки. Валентин подбежал, схватил, обнял. Сверху уже лило. Струилось по ее лицу.

– Что ты?!

Лицо ее исказилось.

– Мне страшно.

– Скорее в светелку!

Глаза ее были пьяны:

– Что там с Филом?

Гром ударил опять. Валентин подтолкнул. Она вырвалась. Он схватил жену за руку.

– Что ты делаешь?! – закричал.

Это ты во всем виноват твоя мать неправда это твое

наследство а ты теперь пьешь а что мне делать если он идиот он не идиот он хотел покончить с собой хватит сколько можно яркая вспышка изжалали ослепила мгновенная тьма удар расколел как да грома сигнализация завизжала ты не понимаешь что я не понимаю у нас нет будущего замолчи разъятое небо близко обуглилось и снова обрушилось совсем рядом ударило как в барабан кровельное железо по стропилам по лицу колотило полоскало ливень косьми стрелами разбрызгиваясь это все из-за тебя замолчи на нас смотрят они ничего не видят иди в дом там нет потолка в светелку ты ничего не понимаешь это ты ничего не понимаешь ты мне изменял я не изменял тебе твоя мать сумасшедшая ты сама сумасшедшая я ненавижу тебя я вас всех ненавижу ты напилась не трогай меня иди скорее убери руки иди я сказал если бы я знала чем это все кончится он выздоровеет он не выздоровеет успокойся я говорю тебе все будет хорошо Вера что Вера ну что Вера...

Она уже откровенно рыдала, ливень бил ее по лицу. Валентин обнимал, поглаживал, как маленькую, по голове... Он плакал и сам, он не знал, что будет дальше. Он хотел, чтобы все было хорошо. Он обнимал жену, она уже подалась ему на руки. Покорно шли вместе. В светелке было сухо, тепло.

Чугнупрэ спрыгнула. Посмотрела внимательно. Подошла и потерлась о ногу. Филипп взял, прижал к лицу и – заплакал. Шерсть животного пахла свежим. Как после дождя. Как сирень – мама тогда вымыла волосы, вытирала полотенцем, наклоняла голову, смотрела, шевелились листья. Филипп прижимал к лицу Чугнупрэ. Маленькая кошка свисала беспомощно, как ребенок. Она все знала и не сопротивлялась. Филипп прошел в свою комнату. Не раздеваясь, бросился на постель. И маленькое животное легло рядом с ним. Он посмотрел в зеленые, с узкими черными ромбами глаза. Животное не выдерживало долго человеческого взгляда и закрывало. Но сейчас – глаза были открыты. Из глубины на Филиппа смотрела жизнь. Он положил руку на шерсть, погладил. Чугнупрэ заурчала. Черная мягкая шерсть сомкнулась вокруг глаз. Зеленоватое исчезло. Ушло на глубину вместе с ромбами. Остались лишь длинные белые усы. Смешно они шевелились вместе с дыханием. Розовый маленький носик, как вывернутое копытце, как влажная, нежная перламутровая раковинка, подрагивал. Филипп потрогал. Чугнупрэ не сопротивлялась.

Я ждал, когда ты выйдешь в сеть. Я обещал наказать себя. Ты знала о моем обещании. Так я исполнил или не ис-

полнил? Если бы не хастики... Это только в компьютерной игре можно начать новую жизнь. Если бы ты знала, как это страшно. Когда умирала бабушка, и я приходил к ней в больницу. Ее взгляд, это знание... Невозможность чего? Неизвестно. То, что уносит, не позволяет даже сказать. Но взгляд... Почему все должно кончиться вместе с телом?

Ты написала мне в мессенджере: если... ты, то потом и я. Клюв на твоём юзернике. Губы, которые я так ни разу и не поцеловал.

Сорвавшись с дерева, задевая почти за стекло, чиркая за стекло, пронеслось что-то шикарное, тяжелое, черное. Чугнупрэ вскочила, поджалась. Сделав круг, черное возвращалось. Тяжело село на карниз. Чугнупрэ прыгнула, царапая по стеклу. Черное замахало крыльями. Уже отлетало. Оборачиваясь, закаркало.

Филипп вздохнул глубоко, закрыл глаза.

Он уже спал, когда луна заглянула в зеркало. И луна разлилась по комнате, как ртуть. Проскользила в полированной ручке кресла. Подобралась на стекле книжной полки. Обнажила и разлила прозрачный стакан. Наполнила серебром чайную ложечку. Скользнула по струнам. Пробежала по шерсти Чугнупрэ. Маленькая кошка лежала рядом с Филиппом, глядя в окно. Филипп глубоко спал.

Луна делилась на части и собиралась, протекала, просеи-

валась сквозь комнату. И комната медленно поворачивалась вокруг Филиппа.

Как будто ты никогда и не двигался. А это жизнь двигалась вокруг тебя. А сам ты был неподвижен.

Эти тела лежат на кровати. Вжимаются друг в друга, как раздавленные. Кровь. Соловьиные внутренности. Заливка – сиреневый цвет. На длинном шнура спускается любопытный глаз лампочки. В комнате жарко. Без подушек и одеял, среди старых обоев обнаженные вжимаются друг в друга. Внутреннее есть внешнее. Внешний мир есть внутренний мир. Яркая слепота есть власть ожиданий. Как присутствие по ту сторону. Пустое бардовое, как бардо тёдол. Как раскачка огромных качелей. Аттракцион незрячих. Смотровое колесо. Ничто для зрителей. Иллюминатор иллюзий. Исчезновение. Без. Во второй раз. В третий. В пятый. Дао дэ цзин – до из. Разгоряченного, влажного. Одно в одном. Наблюдение непостижимо. Головокружительные орбиты. Падение как возвращение. В коже прикосновений. На кончике языка. Во влажном низе. Глубоко на корнях. Расставь. Разведи. Вот так. Шире. Теперь присядь. Прости меня. Да.

Хотела с Солнцем. Непредубежденная, хотела открыть новый архипелаг. Открыть по диагонали, строго. Как на пересечении линий. На транспортирах тел. На непересекающихся пейзажах. Что появляются из волн. За пустынными желтыми пляжами. Пальмы земли, невинности и безбрачия. Неприкосновение и полет. Замедление. Еще немно-

го помедлить перед. Нисхождение как тотальность. Лавина, да, как лавина. В стремительности падения. Блестящий как гибель. Их больше нет. Их никогда и не было. Как виноградный свет. Пронзительнее горздо. Безмерный как Икар. Как изобретение крыльев, преданности и любви. Как сон. Как твой сон – Фил.

Солнце в городе стояло высоко, но еще не совсем. Сухой воздух лениво шуршал по тротуарам. Пыль вздрагивала, кадилась и замирала. Город, нагретый, жал домами. Но наверху, на небе, было широко. Разливалось синим в разные стороны, раскрывалось над головой. Солнце все поднималось и поднималось беспричинно. И люди спешили вдоль земли. А по дорогам шуршали шины. Тарахтели моторы. Машины двигались горизонтально. Кто-то о чем-то спросил. Но Филипп не ответил, Филипп не хотел отвечать, он шагал высоко в небе, рядом с солнцем. В безмерной распахнутой сини. Он вышел в “Just.ru” – название магазина, купить новую игру. И расхотел. Он боялся. Как будто продавцы отложат маленькие мелкие яички, из которых выводится вся эта обусловленность, частная собственность и эгоизм. Что потом уже никуда не деться. Становиться одним из них. Постепенно. Таким же приветливым и фальшивым. Как член общества. Покупателей и продавцов. Расспрашивать о ценах. Разглядывать женщин. Хотеть. Бесперывно и незабвенно хотеть...

Продавцы вышли из павильонов. Курили, глазели – едут автомобили, спешат прохожие. Женщины и мужчины. Молодые, старые, красивые, некрасивые. В продавцах отражался процесс. И – покорно утомляясь процессом – продавцы постепенно возвращались к делу продаж.

А Фил был по-прежнему высоко. Вместе с солнцем. Оно поднималось над его головой. Он снова подумал о своей чистой беспредметной любви. В этом мире она была бесконечно далеко. Скорее всего, ее придумал Рембо. Или Бенжамен Пере? Что ж. Солнце раскрылось. Не идти же в “Just.ru”. Диджитальная игра? Удержаться в легкости. Простить продавцов. Только чистая и беспредметная любовь. Солнечная звезда падает вокруг мира. И восходит над головой. Ее так трудно удержать. И так легко. Просто идти поверх улиц. Со звездой в голове. Без опоры на плечи. На тротуар плеч. Любовь учит уроки вечером, а отвечает утром. Думает о своем Филе. И так близко, у подъезда. Ее удивленное смешное лицо. А я боялся поцеловать. Новое неизвестное. Икс. Новое море и новая земля. Зачем же писать в мессенджере, что любишь меня, что я тебе снился? А потом кричать на улице, чтобы я от тебя отстал...

Пора было опускать бетонные кольца и укреплять стены колодца. Яма могла обвалиться, могло завалить. Вода была все ближе, но и все дальше. Как в пустыне. Татары спускались и поднимались по очереди. Приехал бригадир, сам поднимал их на кованом ведре. По глубине это было уже двадцать второе кольцо, но воды все не было. Татары переговаривались по-татарски. Валентин видел их озабоченные лица. Ему казалось, что они говорят о том, как возвращается все в этом мире, что это только так кажется, что будет как-то по-другому. А все будет, как всегда.

Он ничего не хотел вспоминать. Пусть страшное знание останется позади. Но воды все не было и не было. А Вера приехала и уехала. И телефон ее не отвечал. И телефон Фила не отвечал. И солнце как-то тихо пламенело, слепо раскаляясь на закате. Холодное и безжалостное. «Как когда умер отец», – сказала сама собой мысль.

Татары уходили на закат, черные татары, в сторону неба. Бригадир сказал, что на завтра доvezут еще четыре кольца и уже начнут опускать.

– Трудная вода, – пожал плечами бригадир, когда Валентин спросил его, почему воды все нет.

Вечер постепенно рассеялся. Осталась только тьма. Валентин лежал в темноте, ждал звонка. Он не хотел вспоми-

нать...

Психиатр вышел. Эти мои слова: «Я задушу ее, гадина, я разорву ее на части». Я еле сдерживал слезы. А ты молчал. «Ну, что ты молчишь?» – повторил я. Но ты не сказал ни слова, ты не смотрел на меня. Ты даже не сопротивлялся, дал себя отвезти, хотя перед этим, когда я пытался с тобой объясниться и сказал, что все знаю, что мне позволили из школы и что я открыл твой мессенджер и все прочитал, ты тихо ответил мне, что я сошел с ума – и выскочил из комнаты. Ты мог не вернуться, но ты вернулся. Лег спать. «Надо вызвать скорую, пока не поздно, – сказала Вера. – Ты должен вызвать, пока он спит». «Я знаю». И я все никак не мог решиться. Я знал, что ты мне этого не простишь. Мой сын мне этого не простит... А что я мог сделать? Оставить все. Как есть? Лучше вызвать. Лучше перестраховаться. Это лето. Сначала отец, потом мать. Думал, все кончилось. И теперь ты? Я плакал, когда психиатр вышел. «Я разорву ее на части... Гадина...» Ты молчал, как будто меня не было в кабинете. Как будто у тебя не было отца.

Он сам не знал, почему. Почему все обрушивается сразу. Со всех сторон. Он никак не мог понять, почему умерли его отец и мать. Это у других. Умирают у других. Умирают все. Но его отец, его мать, какие бы они не были больные

и старые, они не должны были умереть. Это неправда, что они должны были умереть. Один за другим, этим летом. А теперь Фил?

Он по-прежнему лежал в темноте, слипались глаза... И Рахман вышел под звезды, и присел у изголовья. И Валентин спросил его, что же будет? Но Рахман сказал, что знает только обратно. Они спустились вместе и вместе стали рыть. Рыли маленькими лопатками. «Так, где же будущее?» – спрашивал Валентин. «Оно скрыто глубоко в прошлом», – отвечал Рахман. «А настоящее?» «Его нет». Валентин ударил жалом лопатки. Белая, как соль, черная, как каменный уголь, неподвижная и вечная, как мерзлота. Земля. Как будто они рыли где-то на Антарктиде, где вода никогда не была водой, не смачивала рук и оставалась сухой и тяжелой, как белый спрессованный пепел. «Дальше тебе надо одному», – сказал Рахман. Он зацепился за звезду и выбрался из колодца. И Валентин продолжал один. Под лопаткой проступало белое, мертвое, как будто это была вода. Но это была не вода.

Через все шепоты всех криков далеких предместий рассыпанных в ночи через океаны бед идущих на кораблях навстречу пасмурному солнцу в изгнании ленивых

Среди затерянных как затерян и каждый как трещина раскол и разрыв что снова и снова воздвигаются над голубой водой и над солнцем что неважен человек и что происходит с ним неважно что умирает однажды весь под крики птиц что он не может удержаться и не в его силах удержаться как шепчут под ногами скорбящих что касается каждого в прикосновении беды что беда говорит очнись ангел беден.

Так он проснулся один. Клубилась тьма. Как будто кто-то кричал. Крик коснулся его. Почему ты не едешь? – кричал крик. За окнами было темно – во дворе, над лесом и над деревней. Не было видно. Словно бы не было ничего.

«Почему ты не едешь?!»

Валентин уже мчался. Обгонял на скорости редкие грузовики. По встречной. Неизвестность слепила фарами, обнажала. Он уходил со встречи, пропускал, снова выходил на обгон. Нажимал на педаль акселератора.

«Фил», – билось в сердце.

Поезд отогнали назад в туннель. Спустились на рельсы.

И сначала не было видно ничего. Только черная тень отъезжающего вагона, какие-то шланги из-под дна. Огромные тяжелые колеса... Валентин сжимал ладони на руле до боли. Гнал прочь фантазм. Встречные фары слепили. Он включил радио.

Это была та же песня. И теперь шоссе было пустынно. И рядом – как будто бы тень отца.

«Stay with me», – пело радио.

Что ты не хотел ехать говорил что нет сил и странное слово круглое овальное где-то вдали госпиталь высокий иллюминатор что можно уже не спешить

И что я знал что надо спешить и что мы должны спешить ты должен спешить я

И ты сидел на краю кровати не в силах подняться и мы уже шли ты говорил подожди дай отдышаться и мы ждали

Я ждал Солнце поворачивалось вокруг Земли и ты говорил а что тут особенного умирают все

И мы уже садились в машину мы не могли остановиться и останавливались никто не может остановиться повернуть обратно настоящее влечет нас

Что я думал что все сделал правильно что медсестры и врачи овальный как под сводом госпела орбита Земли и достижения препараты что кому-то должно повезти

Ты садился в машину почти падал на кресло и пели и пело «Stay with me»

*Я придержал тебя за плечи пока ты садился
О чем они поют? спросил ты
Мы уже тронулись поворачивали на шоссе я молчал
О чем они поют? повторил ты
Я сказал
Как – спросил ты – стэ
Stay – сказал я
Виз – спросил ты
With
Стэй уиз ми сказал ты*

12

Жена лежала на диване. Лицо как будто плыло. Жена не узнала Валентина.

«Пьяна», – догадался Валентин.

Дверь в комнату Фила была по-прежнему открыта. Никого. Только раскиданные вещи. На полу рубашка, поломанная коробка из-под игры.

И как будто уже сдвигалось что-то страшное. Под ногами. Пол, этажи. Весь дом складывался. Сдвигалось все, что было раньше. Что оказывалось обманом. И обнажалось что-то другое. Страшное и безжалостное...

– Где Фил?! – закричал он.

Лицо жены пьяно и бессвязно расплзлось.

– Где Фил?! – крикнул он снова ей в лицо.

– Фил?

Она бессмысленно захохотала.

Как идеальная игра не знает причин, не предполагает следствий. Что ты можешь быть маленьким, можешь быть большим. Можешь умереть, а можешь родиться. Два времени года – до и после – меняются местами, как пространства, согнутые наполовину. В тонкой толщине, в эфемерности, в эфирности, в истончении самых слабых до самых сильных. Как никак. Снова качели. Морская болезнь на суше. И начало – самое маленькое из начал. Росток. Иллюзия. Флейта. Летящий барабан. Как у Пинк Флойд. Из комнаты в комнату. Ищет палочки, молоко. Но его нет, молока. Или наоборот – молока много. Белые «нет». Или «да» чего-то другого? Как идеальная игра. Когда никого нет – уже никого нет. Или еще никого нет.

Под солнце ночи он вышел идти искать. Фонари – близкие корзины с любопытными вниз. Лампочки – зрачки. Со всех сторон. Шуршат, как лучезарные мыши. Сирень ненаглядная на аллее – знак зимы. Светящиеся ботинки девочки. Побежала от карусели. Полтретьего ночи. Светящийся зигзаг. Какая еще девочка в полтретьего ночи... Теплее, теплее, как в той детской игре. Где сидит фазан. Неслышно он прошел по аллее. Гравий шуршал. Вода была рядом. Огромное озеро. Шуршали волны. Шуршало в ушах. Перламутровые

мудрые раковины. Прослушивались. Прибой. Как молодой козодой. Причины всегда льнут к причинам, идут толпой к водопою. А следствия льнут к следствиям. И значит, Филипп жив. Где-то совсем рядом. Даже если и мертв.

В троллейбусе навстречу проезжал господин. И Валентин повернул вслед. В обратную сторону от метро. От зигзага и росчерка метро. Где метро уже расписывалось в своей несостоятельности. Отрекалось от себя, от своих поездов и от туннеля. Как будто метро догадалось, что ему не обыграть ни Фила, ни его отца. Потому что игра отца идеальна.

Часть 2

1

Разворот в сторону и укол. Никто не знает. И я не знаю.

Снег склона слепил, ослеплял. Белое, а выше – синее.

Опустить защитные, вдохнуть морозный.

Бодрит.

Шурша и вжимаясь в наст, мимо пронеслись горнолыжники. И *Филипп* устремился вслед за ними.

Вершина сверкала. И небо синело отчаянно.

Рядом пролетела девчонка, та самая, с которой поднимались на канатке, в красном комбинезоне. Внизу ветер, снег. Она была без перчаток, дула на пальцы, прятала в свитер. А здесь, наверху – солнце, тепло. «Я вчера видела на снегу муху». «Это же было первое марта». «Нет, – сказала она, усмехнувшись как-то странно. – Вчера еще было двадцать восьмое февраля».

Истереть Москву, как о наждак.

И *Филипп* срезал на повороте – догнать девчонку. Красный комби мелькал впереди. *Филипп* неумолимо приближался.

Прошел на скорости совсем близко. Проглиссировал – показал искусство. И уже ускорялся дальше, оставляя девчон-

ку далеко за спиной.

Легко перескакивать, опираясь на тонкие уколы. Выскальзывать, ввинчиваться в повороты и отталкиваться от блестящей поверхности. Взвихривать вихри. Врезаться на кант, выноситься на лед. Влетать на вираж с укола легкого и выходить низко на параллельных. Выпархивать на свежий нетронутый снег, как куропатка, и взвиваться с обрыва (смотри, «красный комбинезон»!). Долго лететь, выкладываясь на ветер, вперед, вытягиваясь на носки лыж. И мягко приземляться в ослепительное. Битый снег, увернуться от налетающей опоры, выйти на пологое. И обгонять уже горизонтально, отталкиваясь палками, идти «коньком». Снежно развернуться, перпендикулярно затормозить у канатной станции. Снять шлем, подставляя лицо обливающему, ярко-моу, как влажная фотография, солнцу.

Накатавшись, Валентин вернулся в отель. Тело устало, гудело. Валентин был Валентином. Он не был *Филиппом*. Он хотел, чтобы *Филипп* стал таким же, как и он.

Ему было легко не вспоминать, потому что он знал, что ему никуда не уйти от воспоминаний. Но сейчас они все еще были вдалеке. Как за границей экрана.

Он принял душ и спустился в кафе. Широкоскулая казашка разносила дымящиеся супы.

«*Красный комбинезон*, наверное, из другого отеля».

Он заказал пятьдесят коньяка. Широкоскулая улыбнулась.

И вдруг – вошла та, в красном комби...

После обеда он снова поднялся в свой номер, и теперь лежал на кровати, вспоминая, как девушка прошла на один столик дальше, села спиной... Легкий укол, поворот на кантах, яркий снег, красный комбинезон... Позвонить жене?

– Я ни в чем не виноват.

– А я тебя и не виню.

– Я просто не мог не улететь, понимаешь?

– Я прекрасно понимаю тебя. Ты ни в чем не виноват.

– Что ты заладила – не виноват, не виноват!

– Я и, правда, не виню тебя.

– Что сказал профессор?

– Подтвердил.

– Значит...

– Ты же ни в чем не виноват. Ты улетел спокойно.

– Я отвез Филя в больницу во второй раз, понимаешь?!

– Он сам просил его отвезти.

– Но именно я отвез его, а не ты.

– Я говорила тебе, что...

– Он не идиот!

– Ему поставили диагноз.

– Я ненавижу твоего профессора!

– А твой сын ненавидит тебя!

– А ты ненавидишь своего сына!

– Зачем ты позвонил? Ты мог бы и не звонить. Тебе же там хорошо. Ты катаешься. Ты развлекаешься.

– Мне надо было вырваться. Ты же знаешь. Весь этот год – сначала отец, мать... Теперь эта история... Ты же знаешь, что мне надо было вырваться!

– Развлекайся.

– Я не развлекаюсь! В конце концов, в больнице с ним ничего не случится. Ты бы знала, чего мне этого стоило!

– А я?

– Ты валялась пьяная и хохотала!

– Я ничего не!..

– Заткнись!

Он бросил трубку. Он хотел швырнуть трубку в стену, чтобы трубка раскололась пополам. Разлетелась на две, на три половины. На четыре. Он еле сдержался. Телефон упал на постель.

Снова в ловушке.

Снова в капкане.

Также, как и когда татары не прорыли еще четыре кольца.

Но ведь все уже позади.

Он посмотрел в окно. Горнолыжники скользили. Наверное, они ни о чем не думали. Ни о чем не вспоминали. По склону скользили тела. Изгибаясь на поворотах, приседали на параллельных. Кто-то упал, отстегнулась лыжа, закрутилась в снежном вихре.

Вечером включают прожектора. Идти сейчас уже нет смысла.

Валентин спустился в фойе. Подождал. Потянуло в буфет. Казашка ополаскивала бокалы. В проеме кухни изогнулась половинка ее черного облегающего трико.

– Вам что-нибудь налить? – глаза ее засмеялись.

– Нет, спасибо, – сказал Валентин.

Оглянулся:

«Ее, конечно же, нет...»

Спросил:

– А молоко у вас есть?

– Молоко? – с удивлением переспросила официантка.

И достала легко. Из холодильника.

– Сами-то катаетесь? – спросил Валентин, глядя, как она наливает.

– Я здесь зарабатываю, – засмеялась она.

– Значит, не катаетесь?

– Один раз за три месяца. На сноуборде. Влетела в ограду так, что больше не хочу.

– Ушиблись?

– Нет, слава Богу, – она рассмеялась, – упала на попу.

Он выпил молоко и заплатил. Как за коньяк.

– Спасибо, – сказала она, широко, загадочно улыбаясь.

Помолчали. Он посмотрел ей в глаза и спросил:

– А что вы делаете сегодня вечером?

Да, он имел на это право... Он построил дом... Это все было летом... Дом для нее, дом для Фила. А сейчас февраль.

Несколько месяцев в больнице. Весь этот рецидив. Гадина.
Задушил бы своими руками.

Валентин стоял возле лифта. Развел пальцы, сжал...

«Надо было не молока, а коньяк».

Лифт подошел. Двери открылись.

Красный комбинезон.

Девушка улыбалась, как будто его ждала.

2

Где-то там, в больницах, скользил на черных крыльях Фил. Он знал и не знал, с этажа на этаж, на черных, горизонтальных, полупрозрачных. За ним закрывали двери, и перед ним открывали двери, чтобы он не мог вернуться назад, чтобы он поднимался все выше и выше, мрачные сестры в халатах весны и января.

Он был один, он всегда был один. Это странное одиночество, что другие люди – всего лишь роли, которые как будто играли с ним в одном театре, в котором по странной причине приходилось не только играть, но и жить, так невозможно жить. И если бы только не своя комната, где можно быть никем или кем-то другим.

Длинные больницы, полупрозрачные, с затемненными стеклами, справа и слева приоткрываются двери. Они следят, как он скользит по длинным коридорам, не вглядываясь в их лица, они подсматривают за ним, но ему все равно, все дальше, пока не щелкнет в очередном замке очередной ключ, и не откроется очередная дверь, все выше, на самый последний...

Солнечная лестница перехода, высокие окна, за которыми яркая праздничная зима с охапками белого или синего снега на зеленых елках, как будто сегодня день рождения и вечером придут друзья, будут дурачиться, красные носы на

резинках, будут шутить, играть, и вечером чай, где даже не помешают отец и мать, огромный со сливовым кремом торт, четырнадцать свечей, которые надо задуть одним махом, набрав побольше воздуха в легкие, слегка синеватый волшебный дым, что все получилось, все четырнадцать, и значит все будет хорошо, *она* позвонит, пронзительно синий и темный вечер, замороженное радостное молчание, восхищение друзей, синее сизое горизонтальное облачко, сползающее в сторону от сквознячка, что-то приоткрывшееся во всех лицах, и даже в блюдах и чашках, в широких настенных часах, что всегда идут по кругу, невидимые стрелки, и это странное чувство, что ты по-прежнему счастлив, и все так просто и хорошо...

– Филипп, к тебе пришли, – сказала дежурная.

– Кто?

– Какой-то мужчина. Наверное, твой отец. У тебя есть отец?

– Да.

Она провела Фила с этажа на этаж. Открывала и закрывала двери. Он думал, что он поднимается. Она вела его вниз.

Щелкает, как затвор, чистая беспредметная любовь. Почти не разговаривали при встрече. Только «привет – привет». В школе отличница. А в мессенджере – «нет смысла жить».

У входа в палату он задержался. Не хотел встречаться с отцом.

– Скажите, что я сплю. Пусть все оставит в приемной. Я заберу потом.

– Я сказала, что тебя нет в палате. Он попросил найти.

– Я не могу с ним сейчас встречаться, понимаете?

– Так что передать? Так и сказать ему что ли? Что ты не можешь с ним встречаться?

– Скажите, что я сплю.

Если бы это пришла мать, а не отец, если бы это пришла мама. Тогда и больница перестала бы быть больницей. Слегка смешная, что это будет видно только ему, а для дежурной – взрослая, ее бы пропустили, с ней и медсестра разговаривала бы по-другому, а он здесь как будто и не человек. У него же нет кожи, как он зачем-то сказал вчера профессору, да, он боится... потому что все всегда происходит... *внутри* – подсказал профессор, ласково, доверительно так подсказал, как будто о чем-то просил, доброжелательно, нет-нет, профессор ничего никому не скажет, он же его новый друг, и Филипп повторил вслед за своим новым другом – *да, внутри*, как будто друг уверенно вел его за руку, повторил и добавил, но я же ни в чем не виноват, а тебя никто ни в чем и не винит, обворожительно улыбнулся друг, просто твои поры сами расширились, правда? это же не ты их разодрал? просто мне не совсем нравится мое имя, сказал Фил, а как бы ты хотел, чтобы тебя звали? И тогда Фил задумался, он подумал, что его друг, наверняка, уже знает, что ему сказал отец, ведь отец взломал пароль и вошел в мессенджер Фила,

и значит, отец знал... отлично, Бэртэр, сказал профессор, я, конечно, не знал, что твое имя такое острое, что оно состоит из осколков, только твердые осколки, э, которое циркулирует, унося твердые бэ, эр, оно вращается, как кровь, нет, сказал Фил, это не кровь, почему же, с какой-то папиросной улыбкой спросил профессор, нет, сказал Фил, это не кровь, это сияние, огненное сияние, ах, ну да, баллончик, сказал друг...

Почему ты плачешь?

Я не плачу... Просто я давно тебя не видела.

Ты меня любишь?

У меня никого нет.

А отец?

Он сам по себе.

Иногда мне кажется, что ты меня не любишь.

Это неправда.

Где ты была после того, как я родился?

Я...

Ты всегда любила волейбол?

Солнце поднималось из-за снежной елки. Солнце было высоко, и... Уже садилось, оставляя снег, блестящий, синий, новогодний снег, по которому раскатывались тени. Они все еще медленно раскидывались, росли, это были тени деревьев, они удлинялись.

Фил стоял у окна и смотрел, как удаляется широкая фигура отца.

– Он принес тебе новую рубашку, – сказала дежурная.

3

Как будто она долго не хотела его отпускать, а потом отпустила. Он рождался трудно, но, в конце концов, родился легко. Она просто улетела в туннель – ей сделали укол. А когда очнулась, когда ей его принесли, когда она увидела его в первый раз – этот взгляд, этот крик. «Наложили четырнадцать швов, – сказала акушерка. – Он едва не разорвал тебя на части». Как будто она не хотела, чтобы он рождался.

Тогда Вера всего боялась, и даже плакала, она была беременна, но Валентин потащил ее с собой в Непал. Ничего не случится. Фил – дитя любви, с ним ничего не случится. И она поверила.

Автобус шел на Покхару. Они решили уехать из Катманду. Дорога по Гималаям. Шофер включал радио на полную громкость, сигналил, когда приближался поворот. Шоссе поворачивало над пропастью, из-за склона горы не было видно, что несетя навстречу. Чтобы не смотреть, не слышать ничего, Вера судорожно перебирала спицы, вязала разноцветное покрывало. А Валентин улыбался. «Какой-то кошмар!» – почти вскрикивала она. «Все будет хорошо».

В Покхаре Валентин напился с каким-то американским полковником, и обратно Вера тащила его в отель на себе.

Утром она проснулась от холода. Она лежала одна. За окном раздавался свист неизвестной птицы. И Фил, наверное,

тоже слушал вместе с ней этот свист. Неизвестная птица, яркая среди ярких цветов издавала резкий протяжный свист. Валентина не было. Вера заплакала. Она лежала и плакала одна. И теперь, наверное, Фил слушал, как она плачет.

Наконец вернулся и он.

– Где ты был?

– Я захотел пить.

– Где ты был?

– Я проснулся от жажды.

– Где ты был?!

– Не кричи!

Она зарыдала. Он попытался ее обнять. Она оттолкнула его. Разило перегаром – и пробивалось что-то еще, какой-то тонкий новый запах. Каких-то диких растений.

– Я купил себе немного джина.

Он помедлил.

– В баре... Болела голова после вчерашнего.

Она закричала:

– Зачем ты меня сюда притащил?!

Он встал, подошел к окну и посмотрел сквозь алюминиевые полоски жалюзей.

Белела на глубоко синем Аннапурна. Ее вершина слегка клубилась, мелкое облачко на глазах рассеивалось. Валентин отпустил жалюзи. И полоски сомкнулись.

Вера лежала на кровати лицом вниз.

4

Договорились на утро, а теперь уже было утро. Девушка смеялась и дула на пальцы. Все тот же красный комбинезон. И – что-то новое. Позолоченный чертик – брошка на рукаве. Валентин отдал ей перчатки. И теперь она дула на перчатки. Договорились поехать с вершины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.